

В.Н. ЛЕКСИН

Языковой фундамент русской цивилизации

В статье обсуждаются проблемы языковой репрезентации цивилизаций и роли языка в их становлении и жизнеспособности. В связи с этим представлены такие содержательные компоненты лингвистического фундамента русской цивилизации, как русские языковой менталитет, языковая картина мира и языковая аксиоматика.

Ключевые слова: русский язык, цивилизация, менталитет, картина мира, церковнославянский язык, государственный язык.

The article deals with the problems of language representation of civilizations and the role of language in their development and viability. The author presents such meaningful components linguistic foundation of Russian civilization, as Russian language, mentality, language picture of the world and the language axiomatics.

Keywords: Russian language, civilization, mentality, world view, Church Slavonic language, the state language.

Анализ роли языка в консолидации цивилизационных сообществ оказался (может быть, в связи с кажущейся очевидностью этого положения) на периферии интересов историков, этнологов и социологов, исследовавших разные грани жизни давних и современных цивилизаций, но, к счастью, образовавшуюся лакуну профессионально заполнили лингвисты и филологи. По трудам этих ученых оказалось возможным проследить взаимосвязи языка цивилизаций и их отличительных характеристик с выделением в их структуре редко рассматриваемых в других научных дисциплинах, но исключительно важных языковых компонент, и в их числе: языковой менталитет, языковую картину мира и специфическую языковую аксиоматику – *вербальный каркас любых цивилизационных ценностей*.

Замечу, что смысл и функции слова в жизни человеческих сообществ занимали исследователей с самого начала зарождения науки, но никогда еще языковая проблематика не была столь актуальной, как в наше время. Язык стал важнейшей составляющей философского мейнстрима, в первую очередь герменевтики, структурализма и постструктурализма, структурного психоанализа, аналитической и постаналитической философии. Не в последнюю очередь, в связи с теоретическим переосмыслением знаковой сущности слова стало возможным создание таких модернизационных оснований индустриального, постиндустриального и информационного обществ, как тотальная компьютеризация, все виды IT-технологий, Интернет и начавшееся использование разработок в сфере искусственного интеллекта. Слово обрело новую и совершенно самостоятельную жизнь в социальных сетях глобально-виртуальных сообществ.

Не удивительно, что литература по языковой проблематике огромна, и в ней при небольшом усилии несложно найти много прямых сопряжений с тематикой данной

статьи. В связи с этим не могу не назвать две замечательные публикации: недавно переизданную монографию Т. Радбиля о языковом менталитете [Радбиль, 2012] и великолепное собрание статей А. Зализняк, И. Левонтина и А. Шмелева о русской языковой картине мира [Зализняк, Левонтина, Шмелев, 2012]. Именно они в значительной степени подвигли меня вернуться к прочитанным в разное время классическим текстам В. фон Гумбольдта и А. Потебни, П. Флоренского и позднего Л. Витгенштейна, М. Бахтина и А. Лосева вкупе с популярными публикациями наших современников (В. Биbihина, Ю. Апресяна, А. Зализняка, В. Колесова, О. Корнилова, Д. Лихачева, В. Топорова и др.), что в конечном счете позволило укрепить авторитетом специалистов мою убежденность в *первостепенном значении языка цивилизации для ее становления и существования*.

Язык, по прекрасному определению Биbihина, есть “первичная наиболее естественная и общедоступная репрезентация мира... Язык срощен с интуитивно-практическим познанием мира (до-сознательным ощущением возможностей), исходным знанием человека” [Биbihин, 2010, с. 505–507]. При этом, добавлю, “исходное знание” становится *знанием*, способным к фиксации и к ретрансляции, только при наделении его словесной телесностью. Да, мысль (чаще всего в виде образа) может быть первичной по отношению к языку, но она обретает форму и энергию только в слове; перефразируя известнейшую тютчевскую строку, могу утверждать: “*мысль изреченная есть мысль*”.

Пиетет перед словом издревле был связан с его сакральностью¹, но со временем ученые выявили и другие, не менее существенные духовные зависимости жизни общества от его языка. Почти двести лет назад всемирно известный лингвист Гумбольдт в большом теоретическом предисловии² к труду об одном из языков народов о. Ява писал: “Язык есть не продукт деятельности, а деятельность... Язык представляет собой постоянно возобновляющуюся работу духа, направленную на то, чтобы сделать звук пригодным для выражения мысли... Он не просто является, как обычно утверждают, отпечатком идей конкретного народа... Он есть совокупная духовная энергия народа... мир, в котором мы живем, есть... именно тот мир, в который нас помещает язык, на котором мы говорим”. К идее о связи языка народа и его “духа” Гумбольдт возвращается снова и снова: “Язык и духовная сила народа развиваются не отдельно друг от друга и последовательно один за другой, а составляют исключительно и нераздельно одно и то же действительное интеллектуальной способности... язык народа есть его дух, и дух народа есть его язык, и трудно представить себе что-либо более тождественное”. И далее: “Каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, откуда человеку дано выйти лишь постольку, поскольку он тут же вступает в круг другого языка” [Гумбольдт, 1984, с. 78–81]. Эти мысли великого лингвиста означают, что цивилизационное сообщество живет до тех пор, пока оно не выходит за пределы “круга” *своего* языка, и что оно перерождается, теряя *свой* язык.

Последующие исследования подтвердили слова Гумбольдта о том, что мы во многом видим мир так, как нам его преподносит язык, и что один и тот же мир в его онтологических и случайных проявлениях по-разному видят и ощущают люди разной языковой культуры и цивилизационной принадлежности. Так, американский лингвист Б. Уорф писал: “Мы расчлняем природу в направлении, подсказанном нашим родным языком. Мы выделяем в мире явлений те или иные категории и типы совсем не потому, что они (эти категории и типы) самоочевидны; напротив, мир предстает перед нами как калейдоскопический поток впечатлений, который должен быть организован нашим сознанием, а это значит в основном – языковой системой, хранящейся в нашем

¹ Человек издавна ощущал себя со-творцом “божественного глагола”. В древнем Египте Птах одновременно создавал и словесно обозначал каждую вещь. В одном из гимнов Ригведы именно слово вызывает к жизни богов и создает мир. В Торе (Брейшит II, 19) Бог передоверяет первому человеку право дать имена всему сотворенному. “В начале было Слово”, – говорит евангелист, – и в христианской традиции Иисус Христос часто именуется Словом.

² Оно называется “О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода”.

сознании. Мы расчленяем мир, организуем его в понятия и распределяем значения так, а не иначе в основном потому, что мы – участники соглашения, предписывающего подобную систематизацию. Это соглашение имеет силу для определенного речевого коллектива и закреплено в системе моделей нашего языка. Это соглашение, разумеется, никак и никем не сформулировано и лишь подразумевается, и, тем не менее, мы – участники этого соглашения; мы вообще не сможем говорить, если только не подпишемся под систематизацией и классификацией материала, обусловленной указанным соглашением” [Уорф, 1960, с. 5]. Естественно, что это суждение – лишь гипотеза, но, как мне представляется, весьма правдоподобная.

Языковой менталитет русского человека

В уже цитированной книге Радбиля о языковом менталитете он определяется как “национально-специфический способ знакового представления знания о мире, системы ценностей и моделей поведения, воплощенный в семантической системе национального языка”. Он пишет также, что “в духе А. Вежбицкой”³ можно предложить совсем лапидарное определение, которое, тем не менее, “схватывает” всю суть этого феномена: “языковой менталитет – это наш способ жить, думать и разговаривать” [Фадбиль, 2012].

Языковой менталитет определяется заложенными в лексико-грамматический строй языка словами-образами русского мира, архетипичными по сути, но заметно утрачиваемыми в последние десятилетия. Что-то подобное происходило в 20-х гг. (во время постреволюционного “освобождения от проклятого прошлого”), но, к счастью, отрезвление пришло быстро, и в школьное образование, в радиопередачи, в издательскую деятельность поспешно и обильно вводилась русская классическая литература – хранитель ментально-языковых ценностей. Немалое значение приобрели сбор, изучение и пропаганда русского фольклора, русской былины и русской сказки; и вблизи от крупных городов, и в самых потаенных местах страны можно было встретить фольклорные экспедиции. Знаковыми в ряду многих событий такого рода я считаю триумфальные выступления на сцене и на радио сказительницы М. Кривополеновой и издание великолепных книг Б. Шергина.

Языковой менталитет – ярчайшая характеристика индивида и этноса, что хорошо знают писатели (вспомним речь персонажей Л. Толстого, Н. Лескова, А. Островского, М. Зощенко). В литературе появилось даже понятие “языковой личности”. Так, Радбиль предложил четырехчастную ее структуру, сопроводив каждый выделенный им уровень характерными русскоязычными примерами. «*Вербально-семантический уровень*, – пишет он, – отражается в неповторимых национально-специфичных “конфигурациях смысла”, воплощенных в особенностях лексической, словообразовательной и грамматической семантики данного языка. Это выявляется как и в установлении существенных семантических различий при сопоставлении примерно сходных фактов в разных языках, так и в установлении безэквивалентных лексических единиц, грамматических категорий и синтаксических моделей. Подтверждающих это примеров очень много, но я ограничусь только двумя. Первым из них может служить русское слово “друг”, не имеющее по смыслу ничего общего, например, с английским friend, что, вероятно, соответствовало бы русскому “приятель” (согласитесь, что “приятель” и “друг” в русском языке означают принципиально разную степень межличностных отношений). А произведенное от английского и вошедшее в молодежный жаргон “бой-френд” означает всего лишь “временный сожитель” (проще – “любовник”). Для того чтобы перевести на английский русское “друг” хотя бы в некотором соответствии с его ментальным смыслом, видимо, потребовалось бы словосочетание close friend.

³ Анна Вежбицкая – известный польский и австралийский лингвист, иностранный член РАН по разделу литературы и языка (с 1999 г.), авторитетный исследователь проблем русистики и межкультурных взаимодействий. В России популярны ее книги “Язык. Культура. Познание” (1996 г.), “Понимание культур через посредство ключевых слов” и “Сопоставление культур через посредство ключевых слов” (обе изданы в 2001 г.).

Характерно и свойственное русским людям множественное словообразование личных имен; так, Иван становится Иванушкой, Ваней, Ванюшей, Ваняткой, Ванечкой (словарь русских имен дает десятки обозначений этого и других имен). А. Вежбицкая считала это признаком склонности русских к «контактам на основе эмоциональной близости. В английском языке число таких измененных форм одного и того же имени составляет от двух до максимум четырех» [Радбиль, 2012].

Второй, предложенный Радбилем, *уровень знания о мире* характеризуется им как уровень «лингвокогнитивный, или уровень языковой концептуализации мира, который отражается в так называемой языковой картине мира данного языка. Это собственно «содержательный» уровень языкового менталитета, воплощающий представления этноса о времени и пространстве, о человеке и природе, о мире производственной и социальной деятельности и пр. Эти представления выявляются в особом рода единицах «языка мысли» и ментальных репрезентациях, главной из которых является концепт». Таково, например, свойственное людям русской ментальности, сохранение в языке архетипической (мифологической) циклической модели времени – «как представление о прошлом как *то, что впереди* (пространственный предлог *перед* (ср. *вперед*) во временном значении означает *до, раньше* (сравним также значение приставки в словах *пред-ыдущий, пред-шествующий*), представление о геоцентрической модели мира (*солнце заходит, солнце восходит*), о том, что земля плоская и имеет край (*на краю земли*)» [Радбиль, 2012].

«Русский язык, – пишет Радбиль, – предпочитает особую схему концептуализации события или внутреннего состояния, при котором реальный субъект действия или состояния осмысливается как объект данного действия или состояния (*мне стыдно, а не я испытываю стыд*)» [Радбиль, 2012]. Эта черта языкового менталитета называется *неагентивностью*, при которой субъект не контролирует состояние, а, напротив, рассматривается в качестве его пассивного объекта.

Третий уровень – *уровень системы ценностей* в структуре «языковой личности» характеризуется исключительно интересным примером языкового подчеркивания русскими преимущественно негативного, поскольку «коллективное сознание положительное воспринимает как норму» [Радбиль, 2012]. Так «качество» («качественный») часто означает *хорошее* качество (вспомним советский «знак качества»), «умный» – не просто имеющий ум, а имеющий *хороший* ум (отсюда «умники и умницы»), и т.д. Примечательная черта национального характера, не стремящегося к положительным преувеличениям (выражение «*ума палата*» звучит скорее иронически).

Четвертый (по Радбилю) *мотивационно-прагматический* уровень в структуре «языковой личности» мы обнаруживаем в удивительных, свойственных только русским, формулах речевого этикета, в особых интонациях и т.п., используемых для просьб, пожеланий, намерений. Здесь и устойчивые непереводаемые выражения, например, «*вы последний*» (крайний в очереди), «*не могли бы Вы сказать*», и т.п.

Складывание языкового менталитета и языковой личности

Исследование процесса («схемы») складывания языкового менталитета представлено в монографии О. Корнилова, который пишет: «Национально-специфический компонент сознания формируется при определяющей роли совокупности факторов среды бытования этноса на раннем этапе своего существования, когда под воздействием природно-климатических условий формируются типичные национальные черты, которые отражаются и закрепляются в языке, становясь *социально наследуемыми*. Впоследствии при изменении или исчезновении тех или иных внешних факторов национальное мышление не перестает ощущать их влияние, поскольку ментально-лингвальный комплекс нации уже сформирован и постоянно самоверифицируется под действием национального языка, «помнящего» действие изменившихся, исчезнувших или потерявших свою значимость факторов внешней среды обитания народа» [Корнилов, 2009, с. 123–125]. На этом фоне формируется *общерусский языковой тип*, то есть такие системно-структурные черты языкового строя, которые, будучи пронесенными

через историческое время и эволюционируя в нем (меняясь в сторону усложнения), некоторым инвариантным образом преломляются в сознании носителя языка и позволяют ему опознать “русскость” текста, фразы, конструкции или отдельного слова. Замечу, что когда я учился в школе, пример обнаружения “русскости” нам предлагали в форме знаменитой фразы академика Л. Щербы “глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокренка”.

В некогда нашумевших “Заметках о русском” академик Д. Лихачев писал, что главное в русском национальном характере и в его манере вести себя по отношению к людям остается неизменным на протяжении веков и сохраняется в определенных формах *речевого поведения*, которые фиксируются в фольклоре, в древнерусской и классической русской литературе, а также в обыденной речи современных людей. Лихачев приводит в связи с этим пример особой задушевной манеры русских обращаться к незнакомым людям посредством терминов родства (*дочка, сынок, бабушка* и т.д.): “Когда хочешь вспомнить о человеке с ласкою, то мысль невольно кружится вокруг того, что у него были родные – может быть, дети, может быть, братья и сестры, жена, родители” [Лихачев, 1987].

Языковой менталитет при всей его устойчивости способен адаптационно изменяться, особенно под воздействием изменившейся среды существования народа. Но адаптационные возможности языкового менталитета не безграничны и, как пронизательно заметил в конце прошлого века В. Колесов, “к сожалению, сегодня во многом наше мыслительное пространство искривлено неорганическим вторжением чужеродных ментальных категорий. Возможно, в будущем и они войдут в общую систему наших понятий, пополняя и развивая менталитет и язык. Однако рачительное и критическое отношение к этому процессу требует компетентности и осторожности” (цит. по [Радбиль]). Добавлю к этому, что “неорганическое вторжение чужеродных ментальных категорий” за 12 лет, прошедших после публикации Колесова, приобрело новую силу, и сейчас многие эксперты говорят уже не об “искривлении”, а об “угрожающей деформации” при полном отсутствии “компетентности и осторожности”.

В связи с вышесказанным я хотел бы обратить внимание читателя на то, что в процессе вестернизации нашей жизни мы теряем такую важнейшую и чисто русскую языковую привилегию, как *отчество*: недаром говорилось – “по имени называют, по отчеству величают”. Повсеместное включение в написание и произношение своего родословия (имя, отчество, фамилия) суффиксов -ович/евич, -ич/вич далось непросто: очень давно право именоваться с “ичем” получали княжеская знать и ее приближенные, а начиная с XVII в. это право можно было получить лишь от царя (иногда по отдельному указу⁴). Таким *полным* отчеством (в отличие от полуотчества с суффиксами -ов/ев и -ин) по екатерининским “Чиновным росписям” могли именоваться только особы первых пяти классов (не считая царской семьи и канцлера, сюда входили действительные тайные и тайные, действительные статские и статские советники, а также все генералы, вплоть до генерал-фельдмаршала). С полуотчеством следовало именовать людей 6–8 классов (коллежские и надворные советники, коллежские асессоры, полковники, подполковники и капитаны), а всех остальных чиновных людей (титулярные советники, губернские секретари, штабс-капитаны и поручики) – просто по имени и фамилии (например, Иван Петров, сын Михайлов). Получение *полного отчества* для всех граждан России было окончательно узаконено в советское время и стало еще одним свидетельством отказа от сословного деления общества.

Отчество – исходная отличительная особенность поименной идентификации именно *русского* человека, постепенно распространившаяся в Российской империи, а затем и в СССР на лиц любой национальности (так, одного из зачинателей критического реализма в армянской литературе именовали Сундукяном Габриэлом Мкртчичевичем, известного советского государственного и партийного деятеля – Тюрякуловым Назиром Тюрякуловичем⁵ и т.д.); в подтверждающих личность паспортах и других

⁴ По указам Петра I право на полные отчества получили князь Долгоруков и купец Строганов.

⁵ Он владел несколькими западными и восточными языками, исполнял ответственные дипломатиче-

официальных документах до сих пор требуется указание фамилии, имени и отчества. Современное западноевропейское употребление только имени и фамилии первоначально пришло из афиш цирка (Иван Поддубный, Эмиль Кио) и эстрады (Лев Лещенко, Надежда Бабкина), с книжных обложек (Алексей Толстой, Юрий Олеша) и концертных программ (Святослав Рихтер, Юрий Башмет), но вряд ли ранее кто-нибудь в России при обращении к талантам мог называть их только по имени. Сейчас всеобщий отказ от отчеств не без успеха пропагандируют телевидение и радио, где демонстрация панибратских отношений ведущих передачи с приглашенными персонами стало нормой. Копирование моделей европейски-американских приятельских обращений (“зовите меня просто Джо”) допускают даже первые лица государства, и это, повторю, – еще одно свидетельство размывания русского языкового менталитета.

Языковая картина русского мира

Со времени выявления Гумбольдтом связи национального мироощущения и мировоззрения с национальным языком (словом, грамматикой, синтаксисом и т.д.) мировая и отечественная наука доказательно подтвердила наличие такой связи и продолжает расширять поле соответствующих исследований. Особенно впечатляющи результаты исследования *языковой картины мира* и *языковой аксиологии* – предметов (наряду с языковой ментальностью), самым непосредственным образом входящих в круг цивилизационной проблематики. Напомню в связи с этим о таких свойствах “картины мира”, как образность, устойчивая система ценностей и сложная структура прямых и обратных связей с этно-национальным мировоззрением и менталитетом. В “картине мира” наглядно проявляется этнонациональная (более широко – цивилизационная) опосредованность специфически русского воззрения на мир и вкорененная в русский менталитет особость языкового мышления. Автор теории языковой концептуализации мира пишет, что в “каждом естественном языке отражается определенный способ восприятия мира, навязываемый в качестве обязательного всем носителям языка. В способе мыслить мир воплощается цельная коллективная философия, своя для каждого языка. При этом образ мира, запечатленный в языке, во многих существенных деталях отличается от научной картины мира” [Апресян, 1986]. Добавлю, что такие “отличия” не делают образную картину мира ущербной по отношению к научной картине мира; первая – действительно несколько иная, но более целостная и “очеловеченная”.

Суть языковой картины мира хорошо охарактеризована Зализняк как «совокупность представлений о мире, заключенных в значении разных единиц данного языка (полнозначных лексических единиц, “дискурсивных” слов, устойчивых сочетаний, синтаксических конструкций и др.), которые складываются в некую единую систему взглядов, или предписаний» [Зализняк, 2006]. При этом, как замечает Радбиль, «языковая картина мира формируется системой ключевых концептов и связывающих их инвариантных ключевых идей (так как они дают “ключ” к ее пониманию)» [Радбиль, 2012]. Для русской языковой картины мира концепты представлены в словах *душа, судьба, тоска, счастье, разлука, справедливость* (причем эти слова – тоже ключевые для русской языковой картины мира). Такие слова *лингвоспецифичны (language-specific)*, ибо для них трудно найти лексические аналоги в других языках.

Единая система взглядов и предписаний *навязывается в качестве обязательной* всем носителям языка, и каждый говорящий на данном языке должен непременно разделять эти взгляды. Потому что “представления, формирующие картину мира, входят в значения слов в неявном виде, так что человек принимает их на веру, не задумываясь. Иначе говоря, *пользуясь словами, содержащими неявные смыслы, человек, сам того не замечая, принимает и заключенный в них взгляд на мир*” (курсив мой. – В.Л.) [Радбиль, 2012]. Эту позицию уточняет Корнилов: “...национальная языковая картина

ские поручения, трудился с 1936 г. в московском Институте языка и письменности народов Востока и был расстрелян по ложному обвинению в 1937 г.

мира является результатом отражения коллективным сознанием этноса внешнего мира в процессе своего исторического развития, включающего познание этого мира. *Внешний мир и сознание* – вот два фактора, которые порождают языковую картину мира любого национального языка” [Корнилов, 2003].

Пространство и время в языковой картине русского мира

Не буду излагать собственные соображения о хорошо изученной специалистами специфике русского языкового восприятия пространства и времени – важнейших элементов любой картины мира. Напомню лишь о сделанном в свое время Лихачевым указании на особую значимость в русской языковой картине мира идеи открытого пространства – *воли, приволья, раздолья, простора*. При этом “пространство” входит в семантическое толкование слов, обозначающих русские лингвоспецифичные понятия, которые характеризуют внутренний мир человека. Так, *удаль*, по мнению Лихачева, – это храбрость, помноженная на простор, а *тоска* – это, наоборот, утеснение ее, лишение пространства.

Об этом развернуто и образно пишет А. Шмелев, один из ведущих специалистов в области современной русистики (от культуры русской речи, аспектологии и лексической семантики до когнитивной лингвистики и концептуального анализа): «...своей собственное русскому языку представление о взаимоотношениях человека и общества, о месте человека в мире в целом, и в частности в социальной сфере, нашло отражение в синонимической паре *свобода–воля*. Эти слова часто воспринимаются как близкие синонимы. На самом деле, между ними имеются глубокие концептуальные различия. Если слово *свобода* в общем соответствует по смыслу своим западноевропейским аналогам, то в слове *воля* выражено специфически русское понятие. С исторической точки зрения слово *воля* следовало бы сопоставлять не с его синонимом *свобода*, а со словом *мир*. В современном русском языке слово *мир* соответствует целому ряду значений (“отсутствие войны”, “вселенная”, “сельская община” и т.д.). Однако все указанное многообразие значений исторически можно рассматривать как модификацию некоего исходного значения, которое мы могли бы истолковать как “гармония”; “обустройство”; “порядок”. Вселенная может рассматриваться как миропорядок, противопоставленный хаосу (отсюда же греческое *космос*). Отсутствие войны также связано с гармонией во взаимоотношениях между народами. Образцом гармонии и порядка, как они представлены в русском языке, или “лада”, если пользоваться словом, ставшим популярным после публикации известной книги В. Белова, могла считаться сельская община, которая так и называлась – *мир*. Общинная жизнь строго регламентирована (“налажена”), и любое отклонение от принятого распорядка воспринимается болезненно, как “непорядок”. Покинуть этот регламентированный распорядок и значит “вырваться на волю”» [Шмелев, 2005, с. 6–7].

Воля издавна ассоциировалась с бескрайними степными просторами, “где гуляем лишь ветер... да я”. На связь понятия *воли* с “русскими просторами” указывает Лихачев: “Широкое пространство всегда владело сердцем русским. Оно выливалось в понятия и представления, которых нет в других языках. Чем, например, отличается воля от свободы. Тем, что воля вольная – это свобода, соединенная с простором, ничем не огражденным пространством” [Лихачев, 1987].

В отличие от *воли, свобода* предполагает как раз порядок, но порядок, не столь жестко регламентированный. Если мир концептуализуется как жесткая упорядоченность сельской общинной жизни, то *свобода* ассоциируется, скорее, с жизнью в городе. Недаром название городского поселения *слобода* этимологически тождественно слову *свобода* (см., например, [Фасмер, 1971, с. 582, 672]). Если сопоставление *свободы* и *мира* предполагает акцент на том, что *свобода* означает отсутствие жесткой регламентации, то при сопоставлении *свободы* и *воли* мы делаем акцент на том, что *свобода* связана с нормой, законностью, порядком: «(“Что есть свобода гражданская? Совершенная подчиненность одному закону, или совершенная возможность делать все, чего не запрещает закон”, – писал В. Жуковский). *Свобода* означает мое право делать то, что мне

представляется желательным, но это мое право ограничивается правами других людей; а *воля* вообще никак не связана с понятием права» [Шмелев, 2000, с. 6–7].

Симптоматичны также суждения о специфических русском восприятии времени. Е. Яковлева отмечает свойственное русским людям своеобразное “очеловечение” и одушевление времени (“в мое время”, “в свое время”, “его время прошло”, “одну минуточку!”, “миг” и т.п.). Она пишет также, что, например, “вчерашний” и “завтрашний” могут обозначать что-то отжившее и, наоборот, прогрессивное (“эта идея вчерашнего дня”, “автомобиль нашего завтра” и т.п.). “Само функциональное размежевание близких по смыслу слов (*время / пора; сегодняшний / нынешний; теперь / нынче; прошедший, минувший / прошлый, прежний; в дальнейшем / впредь...*) отражает различное понимание самого времени носителями русского языка. Повторяемость событий, общность человеческих судеб ассоциируется с циклическим временем, а неповторимость, уникальность – с линейным” (цит. по [Радбиль, 2012]).

Для русского языка характерна и такая черта: там, где англоязычный говорящий перейдет на язык специальных, вспомогательных, временных показателей, носитель русского использует “основное” слово (со всем его “качественным” спектром). Сравним «не адекватный в этом смысле перевод из “Медного всадника”: *И с той поры [когда случилось Идти той площадью ему...] And ever since, when...* Английский отмечает точку на оси времени, не специфицированного событиями; русский же, используя слово *пора* (показатель времени космологического, ниспосылаемого, рокового...), заставляет осмыслить эту “точку” как поворотную в судьбе героя» (цит. по [Радбиль, 2012]).

При этом время выступает как “другое название для жизни”. Здесь интересна группа русских показателей кратковременности: *минута, миг, мгновение, момент*. Именно в русском языке «слова эти выступают как элементарные (атомарные) единицы трех различных моделей времени (жизни). И если в английском фраза *till the moment* лишь указывает на некий пункт в развитии событий, точку во времени, то ее русские переводы *до этого мгновения / до этой минуты / до этого момента* сообщают и о характере событийного заполнения, “качестве” описываемой с помощью временных показателей жизни. Аналогично, *at the outset, from the outset* описывают точки во времени безотносительно к характеру наполняющих это время событий, ср. русские “эквиваленты” *с этого мгновения / с этой поры / с этого момента / с этой минуты / с этого времени*, предполагающие разные и по масштабу, и по значимости варианты событийного заполнения» (цит. по [Радбиль, 2012]).

Приведу высказанное по этому поводу любопытное и, как всегда, очень точное суждение Радбиля: “В русском языке можно говорить о большей значимости относительного времени (идея предшествования, одновременности, следования) по отношению к абсолютному (прошедшее, настоящее, будущее). Так, русский язык выработал особую форму глагола, специально предназначенную только для выражения относительного времени – деепричастие. Русское причастие тоже имеет только две временных формы, поскольку оно предназначено для передачи относительного времени. Вообще в русской грамматике время представляется более семантизованным, конкретно-наглядным из-за преобладания видовой характеристики над временной: поэтому в русском языке чистая идея временной протяженности осложняется выражением направленности действия, способа его протекания и т.д.” [Радбиль, 2012].

Язык цивилизационной аксиологии

Ранее уже упоминалось об аксиологическом (ценностно ориентированном) характере русской языковой картины мира. Анализируя этот вопрос, Радбиль пишет: «Иногда только общность в сфере ценностей может объяснить сближение совершенно разных в номинативном плане понятий. Взять русские слова *любить* и *любой*. Случайна ли их звуковая общность? Нет, конечно, тем более она поддержана этимологически: слова восходят к одному корню. Не есть ли это свидетельство того особенного, “вселенского” характера русского понимания любви, того особого места этой любви в русской системе ценностей, о котором говорят нам русские философы, писатели,

общественные деятели? С другой стороны, случайно ли объединение в английском слове *calling* значений профессия и призвание? Или это отражение системы ценностей в мире, где человек – это его дело, а дело – есть угодная Богу миссия? В русском языке *профессия* и *призвание* – понятия, скорее, противоположные: не случайно они могут так легко антонимизироваться в контекстах типа: *Это не профессия, это – призвание!*» [Радбиль, 2012].

Ценности в языковом менталитете представляются разными путями. Они могут входить в ядерную часть семантики ключевых для этноса слов. Например, такие слова, как *вера, надежда, любовь*, можно назвать *русскими культурными концептами*. «Представления о ценностях могут эксплицироваться в разнообразном арсенале стилистических, оценочных, эмоционально-экспрессивных оттенков смысла, закрепленных в слове (они обычно отражаются в словарях в системе словарных помет), – сравним, к примеру, отрицательную оценочность слова *небезызвестный* в сравнении с нейтральным *известный*, выражающим примерно тот же смысл. Все это называется *оценочной сферой языка*» [Радбиль].

При этом большая часть ценностей входит в язык скрыто, не присутствуя в семантике его слов ни на номинативном, ни на коннотативном уровне, но тем не менее, являясь существенным условием для их правильного понимания. Например, по словам Корнилова, специфика русского аксиологически значимого концепта *совесть*, в отличие от западных языков, заключается именно в объединении идеи логического анализа собственных поступков и идеи стыда за них в случае несоответствия собственным (в первую очередь) и общепринятым представлениям о добре и зле. Русская *совесть* – это не рациональный регулятор поведения человека, а регулятор эмоционально-нравственный, обращенный более к чувствам человека, нежели к его рассудку. Отмечу, что западные варианты скорее соотносятся с русским понятием *сознательность*, как раз предполагающим рациональный контроль над своим поведением, который осуществляется из сферы *разума, сознания*, а не из сферы *души, совести*.

Языковая аксиология русской картины мира на примере слова “совесть”, олицетворяющего противостояние разрушительным потенциям “воли” (совесть не велит”, “имейте хоть каплю совести” и т.п.), прекрасно охарактеризована академиком Апресяном: «“Совесть” по своим сущностным свойствам не агрессивна и не энергична (ее, например, можно “заглушить”), но в отличие от “воли”, “совесть” живет в человеке (в народе) постоянно и не в каждом факте своего проявления действует быстро, недолго и умирает, хотя может впасть в долгий летаргический сон» [Апресян, 1995]. При этом в русской языковой картине мира “совести” все же больше, чем “воли”.

Специалисты выделяют и такую характерно русскую черту языковой аксиологии, как отмеченное Корниловым “неприятие какой бы то ни было жесткой регламентации, строгой иерархии в отношениях, некий нигилизм проявляются не только в неопределенности лексического оформления статусных отношений между людьми, но и в пронизывающем все и вся духе иронии и самоиронии. Русские склонны к шутке, иронии, самоиронии и подначке по своей природе, и это может проявиться даже в серьезной обстановке переговоров” [Корнилов].

Опираясь на хорошо известный частотный анализ использования близких по смыслу слов, Вежбицкая приводит удивительные сопоставления распространенности словесного выражения одних и тех же понятий в английском и в русском языках: «В специальных словарях обнаружилось, что, например, частотность английского слова *homeland*, равна 5, тогда как частотность русского слова *родина*, переводимого в словарях как “*homeland*”, составляет 172. Различие в 30 (!) раз, видимо, не требует комментариев» [Вежбицкая, 1996, с. 284].

Показательны и результаты анализа Вежбицкой таких “ключевых слов” русской языковой картины мира, отразившейся в нашей культуре, как “судьба” и “душа”. Эти слова в русском языке подобны свободному концу, который нам удалось найти в спутанном клубке шерсти: потянув за него, мы, возможно, будем в состоянии распутать целый спутанный “клубок” установок, ценностей, ожиданий, воплощаемых не только в словах, но и в распространенных сочетаниях, в устойчивых выражениях, в грамма-

тических конструкциях, в пословицах и т.д. Например, слово *судьба* приводит нас к другим словам, “связанным с судьбою”, таким как *суждение, смирение, участь, жребий и рок*, к таким сочетаниям, как *удар судьбы*, и к таким устойчивым выражениям, как *ничего не поделаешь*, к грамматическим конструкциям, таким как все изобилие безличных дативно-инфинитивных конструкций, весьма характерных для русского синтаксиса, к многочисленным пословицам и так далее” [Вежбицкая, с. 284]. Из таких и подобных им ключевых понятий и состоит языковая картина мира русского человека.

Русский церковнославянский: мертвый или бессмертный?

В пространстве русской цивилизации до сих пор обретается удивительный собрат нашего повседневного русского языка – церковнославянский. Он – не язык бытового общения при том, что упрощенных вкраплений его в нашу речь очень много (вспомним хотя бы “устами младенца глаголет истина” и попробуем сказать это на “современном” русском!), и не язык нашей обычной книжности. Церковнославянский язык сегодня – язык богослужения и древнерусской литературы; на нем и сейчас создаются новые тексты, но все они, насколько мне известно, опять же входят в круг акафистов и житий (в основном новомучеников).

Церковнославянский язык – один из старейших национальных книжных языков в Европе. Несколько отличающиеся друг от друга (в основном морфологически и фонетически) изводы этого языка существовали и существуют в разных странах, но исторически сложилось так, что его главным местом пребывания стало пространство русской цивилизации. Некогда (X–XVIII вв.) церковнославянский был на Руси единственным письменно-книжным языком, тем самым, каким была в средневековой Европе латынь. На церковнославянский переводились греческие и латинские богослужебные тексты, на нем писались “слова поучительные”, летописи, жития и т.п. Удивительный сплав церковнославянской, разговорной и иноязычной речи знаком тысячам наших современников по “Хождению за три моря” А. Никитина.

Подвиг Солунских Братьев, которых считают создателями церковнославянского языка, был наитруднейшим. Свв. равноапостольным Кириллу и Мефодию нужно было создать содержательный и смысловой эквивалент двух естественно сложившихся языков христианской богословской традиции – греческого и латыни. Как отмечает в исторической очерке, предпосланном популярному (не академическому и не вузовскому) учебнику церковнославянского языка [Плетнева, Кравецкий, 2011], В. Живов: “свв. Кирилл и Мефодий... не выдумали этот язык, а приспособили славянскую речь к выражению тех понятий и представлений, которые диктовало христианское учение. Это, бесспорно, требовало огромной работы... Для того чтобы сделать язык письменным и перевести на него Библию и богослужение, нужно было создать *письменность, т.е. славянский алфавит, приспособленный к звукам славянской речи*, нужно было найти слова, которые *подходили бы для выражения христианских понятий*, и нужно было, наконец, научиться строить фразы так, чтобы получалось *стройное и последовательное повествование* – такое же, какое было в греческих оригиналах... В результате... сформировался *основной словарный фонд* (лексика) церковнославянского языка всего славянского мира. В дополнение к библейским и богослужебным книгам, переведенным Мефодием и его учениками в Моравии, переводится с греческого множество книг и появляются разнообразные оригинальные произведения. Славянская книжность заняла свое место в ряду мировых литературных традиций.

... После официального принятия христианства при св. Владимире в 988 г. на Руси утверждается и славянское богослужение, и славянская книжность... Русский и церковнославянский понимались не как разные языки, а как *разные варианты одного языка*. Такое понимание отражалось и на употреблении. Во-первых, разграничивались сферы применения вариантов, т.е. книжного и некнижного: *по-церковнославянски не вели бытовых разговоров, а по-русски не молились*. Во-вторых, когда русский человек писал книжные тексты, он пользовался своими знаниями родного языка, часто только переделывая на книжный лад обычные для него слова и обороты” [Живов, 2001].

Для многих писателей и поэтов, да и просто ревнителей благолепия русского языка церковнославянский был не только источником вдохновения и образом гармонической завершенности, стилистической строгости, но и стражем, как это полагал еще Ломоносов, чистоты и правильности пути развития русского (“российского”) языка. Утратил ли эту роль церковнославянский и в наше время? Я полагаю, что не утратил, что именно эту функциональную сторону древнего языка, языка *не отрешенного от современности*, следует осознавать и воспринимать и в наше время. Мне известно, что во Франции любители и охранители чистоты французской речи также относятся и к латыни, изучая и популяризируя этот средневековый международный европейский язык и даже стремясь сделать его устным, разговорным в определенных ситуациях и условиях. Они создали общество “живой латыни” (*le latin vivant*) никак не в ущерб, а на пользу родному французскому языку.

В одной из своих публикаций авторы ранее упомянутого учебника церковнославянского языка пишут о малоизученном феномене реального двуязычия русского дореволюционного общества: письменным языком основной массы населения России был церковнославянский. На основе огромного фактического материала авторы утверждают: до 20-х гг. прошлого века “сфера употребления возникшего в XVIII веке нового литературного языка была ограниченной. Владение русским литературным языком не выходило за пределы образованной части общества... языком, которому учили крестьянских детей, был церковнославянский. Это сформировало почти непреодолимый барьер между массово-народной и узко-элитарной частями культуры русского народа” [Краевецкий, Плетнева, 2001, с. 25].

Противопоставление церковнославянского и русского литературного языка, пишут А. Краевецкий и А. Плетнева, “оказалось втянутым в оппозицию *элитарная культура – народная культура* и даже *просвещение – невежество*. Ориентированная на церковнославянский язык система обучения ассоциировалась с народным суеверием. Многочисленные проекты просвещения народа предполагали ломку традиционной системы образования”. Это иллюстрируют результаты проведенной в 1897 г. всеобщей переписи населения. “Крестьянин, который умел читать по-славянски, но не читал гражданских книг, мог восприниматься как неграмотный. Любопытно, что такое отношение к народному типу образования разделяли и филологи-слависты”. Поэтому данные переписи 1897 г. *не содержат* достоверной информации об уровне грамотности жителей Российской империи в конце XIX века. А авторы резонно предполагают, что «уровень церковнославянской грамотности в процентном отношении был более высоким, чем уровень русской грамотности. Однако в господствующей культурной парадигме умение читать по-славянски рассматривалось не как элемент образованности, а как часть “нецивилизованной” народной культуры... Для носителей традиционной культуры богослужебные тексты были, вероятно, более понятными, чем произведения русской классической литературы» [Краевецкий, Плетнева, 2001, с. 41].

Церковнославянский язык никак нельзя отнести к “мертвым” языкам. Он уже не тот, что был при рождении, периодически без суетной спешки редактируются богослужебные книги, в которые вносятся коррективы и языкового характера. Но речь идет, разумеется, не о русификации нашего сакрального языка (что, например, на моей памяти делал о. Г. Кочетков), а об освобождении этого языка от веками накопленных ошибок, двусмысленностей, возникших в ходе эволюции русского разговорного языка, и т.п. Примечательно, что призывы к обмирщению языка православных богослужений (то есть к совершению их на обыденном русском языке) раздаются, как правило, в среде людей, далеких от церковной жизни (но как бы радетелей о максимально легком к ней приобщении). Такие призывы можно слышать и от наиболее образованной части прихожан, которым, казалось бы, нужно не более нескольких часов, чтобы понять азы церковнославянского языка. Причина “непонятности” этого языка – в другом.

Простой пример. Заходит человек в четверг пятой седмицы Великого поста в церковь и слышит, как в полутьме (горят только свечи) священник читает шестую песнь Великого канона св. Андрея Критского: “В судиях левит небрежением свою жену двадесатым коленом раздели, душе моя, да скверну обличит от Вениамина беззакон-

ную”. Человек не понимает, о чем идет речь и считает, что это связано с непонятностью церковнославянского языка. Но ему предлагают перевод на современный русский, и он читает: “Во дни судей левит во гневе жену свою двенадцати коленам разделил, душа моя, дабы обличить незаконную скверну колена Вениаминова” и – снова ничего не понимает. А причина – не в языке. Для понимания процитированного отрывка величайшего творения средневековой христианской культуры нужно было бы прочитать одну из самых страшных глав Книги Судей о том, что случилось в городе насильников и мужеложцев с левитом и его наложницей. Конечно же, человек, ни разу не раскрывший Библию, будет неловко чувствовать себя во храме не только “во дни печальные великого поста”. И вряд ли станет ему понятней смысл великопостного и всего остального богослужения, если оно будет вестись на современном русском языке.

В защиту нашего языка выступают педагоги и ученые, политики и журналисты, но их голос, по моим наблюдениям, мало затрагивает все менее читающий русский народ и наши властные структуры. Ситуация – угрожающая, поскольку, по данным международного тестирования PISA⁶, оказалось, что по качеству чтения и понимания текста старшеклассниками Россия среди 65 стран за несколько последних лет “съехала” с 27-го на 41-е место. Правда, важность проблемы укрепления позиций русского языка как единственного средства языковой консолидации народов России постепенно начинает осознаваться. Косвенным подтверждением этого стало упоминание значимости проблемы в ряде выступлений президента РФ В. Путина и проведение в середине ноября 2013 г. в Москве учредительного съезда Ассоциации учителей русского языка и литературы, инициатором которого выступила администрация президента РФ. Пока же можно констатировать, что русская цивилизация продолжает терять свою созидательную энергию и на языковом уровне.

“Дом бытия” русской цивилизации

Ранее уже отмечалось, что цивилизационное сообщество существует до тех пор, пока его главные основания – язык, отношение людей к фундаментальным ценностям, ментальность, религиозное чувство – сохраняют свою особость и находятся в относительной гармонии. *И самое постоянное среди этих оснований – язык.* «Мы живем, – пишет Радбиль, – в культурной среде, в культурной оболочке нашего языка. Язык незаметно для нас пронизывает все области нашего опыта взаимодействия с внешним миром и все попытки заглянуть в себя, он незримо присутствует в нашей сфере ценностей и системе жизненных установок, определенным образом окрашивая и интонируя нашу познавательную и ориентационную деятельность по отношению к экстралингвистической реальности. Не случайно выдающийся философ А. Хайдеггер назвал язык “домом бытия”, тогда как традиционный взгляд на вещи вроде бы предполагает обратное – “бытие есть дом языка”» [Радбиль, 2012].

“Дом бытия”, участвовавший в становлении нашей цивилизации и ставший ее важнейшим атрибутом, – это *русский язык* со всеми его диалектами, заимствованиями, книжными и церковно-славянскими включениями, жаргонно-сленговыми новациями. И в то же время я утверждаю, что сейчас наш “дом бытия” – язык русский *литературный*. При всей моей любви к этимологическим поискам я далее буду говорить не о сокровищах пока еще сохранившихся народных говоров, а о том языке, на котором говорит большинство моих сограждан. И следует сказать особо о том, что он стал иным менее века назад.

Трансформацию русского языка после 1917 г. обычно связывают с вхождением в обиход новой лексики (партийно-политической, технической и т.п.), обусловленной и новой (советской) идеологией, и коллективизацией сельского быта, и индустриализацией, ускорившей процессы урбанизации. Но, по моему разумению, самая большая лингвистическая новация того времени – *стирание граней между разговорной речью*

⁶ Programme for Internacinal Student Assessment – осуществляемая ОЭСР программа по оценке образовательных достижений учащихся.

и литературным языком. Практически полная ликвидация неграмотности, обязательное школьное образование, огромные тиражи раскупаемых книг и получаемых газет, тотальная радиофикация (часто предшествовавшая электрификации) оставили дореволюционные народные говоры лишь в отдаленных местностях и, как правило, у людей старшего возраста. При этом революция 1917 г. фактически вывела из употребления и церковнославянский язык – как из резко сократившегося богослужебного, так и из крестьянского письменного обихода.

Постреволюционная Россия заговорила на книжном языке, – зачастую примитивном, насыщенном газетными штампами, непоправимо обедненным и предельно унифицированным; остались лишь фонетическая (ударения, мягкость или жесткость произнесения ряда согласных и т.п.) разница в произнесении одних и тех же слов, да постепенно утрачиваемые диалектизмы. В России практически закончился период двуязычия (разговорный и литературный язык), начавшийся с момента появления церковнославянской письменности.

“На заре русской истории, – пишет А. Кожин, – в пору становления и расцвета Киевского государства, литературный язык – важнейшее средство письменного общения; на нем создавались деловые государственные и частные акты, документы юридического содержания, произведения историко-художественного характера, литературно-художественные памятники. В эту пору древнерусский литературный язык, опирающийся, с одной стороны, на церковнославянскую письменность, а с другой – на нормы деловых памятников, был языком церковно-риторической и светской письменности восточных славян – предков русского, белорусского и украинского народов... Литературный язык – национальное достояние русского народа, форма существования русской культуры” [Кожин, 1981, с. 27]. Все это – так, но почти все русское население говорило отнюдь не на описанном Кожиным литературном языке, да и немногая часть русских, писавших и читавших на нем, в обиходе пользовалась языком разговорным. И очень медленно, синхронно с распространением грамотности литературный язык начал замещать разговорный; практически полное его замещение совершила, – повторю, – революция 1917 г. То, что *говорилось* по-русски, стало равнозначным *написанному*.

Признание *доминирующей литературной* формы современного русского языка (какой бы огрубленный, упрощенный и часто карикатурный вид эта форма ни принимала) весьма важно для представления о его судьбе в условиях демонстративного “культурно-революционного” отказа от норм и правил русского *литературного* языка, в условиях вытеснения его из школьных программ, его “сетевой” инвалидизации и т.п. Об опасности утраты и сознательного пренебрежения своим языком как симптоме надвигающейся национальной катастрофы давно и обоснованно говорят ученые, но в наиболее обостренной форме ощущают эту опасность учителя, писатели и поэты⁷.

Защита национальных языков в наше время стала фактически обязательной частью государственной политики тех государств, которые ощущают негативные воздействия иноязычной экспансии. Это происходит даже в пространстве китайской цивилизации, часто (но неверно) воспринимаемой в качестве образца устойчивости. Руководство и языковеды Китая помнят о том, как в XVIII–XIX вв. в торговавшем с иностранцами Гуандуне возник и распространился пиджин-инглиш – карикатурное наложение упрощенной английской лексики на китайскую грамматику. Сейчас языковые контакты Китая с окружающим миром беспрецедентны; китайцы живут и работают почти во всех государствах, только в США проходят обучение около 200 тыс. китайских студентов, и в повседневную речь граждан Китая вошли не только *hello* и *OK*, но и много переименованных англицизмов, например *шоппинг* (*shopping*). В этих условиях в Поднебесной защита китайской речи отождествляется с защитой культурной идентичности. Лимитируется массовый показ зарубежных фильмов (в 2012 г. – 34), установлены

⁷ В феврале 1942 г., когда решалась судьба русской цивилизации, А. Ахматова писала: “Не страшно под пулями мертвыми лечь, Не горько остаться без крова, И мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, И внукам дадим, и от плена спасем Навек!”.

требования расшифровки иностранных слов и выражений в публикациях, а ведущим передач на радио и телевидении запрещено использование иностранных выражений, имеющих китайские синонимы [Погорелов, 2013].

Защищаются от чрезмерной иноязычной экспансии и европейские государства. В связи с этим чаще всего приводится пример языковых законов во Франции. Один из них, подписанный В. Жискара д'Эстеном в 1975 г., в частности, запрещал использовать иностранные слова при наличии французских синонимов. Однако принятые меры оказались недостаточными, и 4 августа 1994 г. Ф. Миттеран подписал более радикальный закон № 94-665 “Об употреблении французского языка”. В первой же его статье французский язык (с отсылкой к Конституции Республики) был назван “основополагающим элементом идентичности и национального достояния Франции, языком преподавания, трудовых отношений, торговли и государственной службы и особой связью государств, образующих сообщество Франкофонии”. Статья 3 этого закона обязывает составлять на французском языке “надписи или объявления любого рода, нанесенные или размещенные на дороге общего пользования, в месте, открытом для населения, или в общественном транспортном средстве и предназначенном для информирования населения”. Закон предписывает обязательность изложения на французском языке договоров и иных документов в сфере государственной службы, а “публикации, обзоры и сообщения, распространяемые во Франции и исходящие от юридического лица публичного права, от частного лица, получающего государственные субвенции, когда они составлены на иностранном языке, должны содержать, по крайней мере, краткое изложение на французском языке” (ст. 7). Отмечу и требование ст. 6 к проведению разного рода публичных мероприятий (в том числе симпозиумов и конгрессов), организуемых французской стороной и для французской аудитории, в части использования французского языка не только в выступлениях и дискуссиях, но и во всех распространяемых среди участников печатных материалах. Все это, конечно же, не может исполняться автоматически, для реализации закона должны постоянно приниматься различные (в том числе контрольно-ревизионные) действия, и об исполнении положений закона (в соответствии со ст. 22 “закона Губона”) правительство Франции обязано ежегодно представлять палатам парламента соответствующий доклад.

За рубежом к защите родного языка относятся серьезно и в крупных компаниях; например, 26 июля 2013 г. в “Российской газете” было опубликовано сообщение ее зарубежного корреспондента А. Розе о том, что концерн “Немецкие железные дороги” опубликовал список 2200 (!) англицизмов (слов и выражений), которых сотрудники “должны избегать в общении между собой и с клиентами”. Мне известны и другие примеры такого рода, но не известно ни одного отечественного [Розе, 2013].

Язык – один из самых парадоксальных устоев цивилизационных сообществ: он *одновременно* консервативен и невероятно пластичен, устойчив в своей основе и обладает огромной ассимиляционной емкостью. Он способен постоянно вбирать иноязычное, но оставляет в долгосрочном пользовании лишь немного, да и то в виде, измененном по своему образу и подобию. Естественный язык каждой локальной цивилизации живет в режиме непрерывной самоорганизации: его скачкообразные или, наоборот, постоянные и неторопливые изменения можно отслеживать и частично корректировать, но управлять его эволюцией никогда и никому не удавалось.

Я хотел бы закончить следующими словами известного лингвиста: «Нам в каком-то смысле повезло. В отличие от многих европейских языков, интенсивное формирование современного литературного русского языка замечательным образом совпало с формированием национального самосознания... Отсюда две важные особенности русской культурно-языковой ситуации. Во-первых, стереотипы “национального характера” выражены в русском языке особенно ярко: ведь они складывались в период, когда язык, обычно консервативный, был пластичен и готов к закреплениям новых смыслов. Во-вторых, русской культуре и до сих пор свойственна повышенная языковая рефлексия и представление о непереводимости русских слов и понятий» [Левонтина, 2012, с. 320–321].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян Ю.Д.* Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Семиотика и информатика. Сб. научн. статей. Вып. 28. М., 1986 (http://pcs.mathmmsu.su/~uspensky/journals/slio/35/35_APRES.paf).
- Апресян Ю.Д.* Образ человека по данным языка: попытка системного описания // Вопросы языкознания. 1995. № 1 (<http://gabaza.ru/doc/36800.html>).
- Бибихин В.В.* Язык // Новая философская энциклопедия. В 4 т. Т. 4. М., 2010.
- Вежбицкая А.* Язык, культура, познание. 1996.
- Гумбольдт В.* Избранные труды по языкознанию. М., 1984.
- Живов В.М.* О церковнославянском языке // *Плетнева А.А., Кравецкий Л.Г.* Церковнославянский язык. М., 2001 (<http://www.philologi.ru/linguistas2/zhivov-01-htm>).
- Зализняк Анна А.* Многозначность в языке и способы ее представления. М., 2006 (http://www.dslib.net/jazyko-znanit/mnogoznachuost_v_язуке-i-sposoby-ee-predstavlemja.html).
- Зализняк Анна А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д.* Константы и переменные русской языковой картины мира. М., 2012.
- Кожин А.Н.* Литературный язык Киевской Руси. М., 1981.
- Корнилов О.А.* Языковые картины мира как производные национального менталитета. М., 2003 (http://sbiblio.com/biblio/archive/kornilov_jazik/02aspx).
- Кравецкий А.Г., Плетнева А.А.* История церковно-славянского языка в России: конец XIX–XX в. М., 2001.
- Левонтина И.Б.* Откуда есть пошла русская душа? // *Зализняк Анна А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д.* Константы и переменные русской языковой картины мира. М., 2012.
- Лихачев Д.С.* Заметки о русском // *Лихачев Д.С.* Избранные работы. Т. 2. Л., 1987 (<http://www.ladim.org/st0ab8100101.phttp>).
- Плетнева А.А., Кравецкий А.Г.* Церковнославянский язык. Изд. 2-е, доп. и перераб. М., 2001.
- Погорелов Р.* Китайская альтернатива // Новое восточное обозрение. 18 июля 2013.
- Радбиль Т.Б.* Основы изучения языкового менталитета. М., 2012 (<http://www.MGU-russian.com/download.php?filename=/aroad/block/01f/Основы+изучения+языкового+менталитета.pdf>).
- Розе А.* Немцы взяли языка // Российская газета. 26.06.2013.
- Уорф Б.Л.* Наука и языкознание. О двух ошибочных воззрениях на речь и мышление, характеризующих систему естественной логики, и о том, как слова и обычаи влияют на мышление // Новое в лингвистике. Вып. 1. М., 1960.
- Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. В 4 т. Т. 3. М., 1971.
- Шмелев А.Д.* Лексический состав русского языка как отражение русской души // *Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д.* Ключевые идеи русской языковой картины мира. М., 2005.
- Шмелев А.Д.* Широта русской души // Логический анализ языка. Языки пространства. М., 2000.

© В. Лексин, 2015

Сдано в набор 17.10.2014	Подписано к печати 25.12.2014	Дата выхода в свет 20.01.2015
Формат 70 × 100 ¹ / ₁₆	Цифровая печать	Усл. печ.л. 14,3
Бум.л. 5,5	Тираж 289 экз.	Усл.кр.-отт. 4,2 тыс.
	Зак. 826	Уч.-изд.л. 18,5
		Цена свободная

Учредители: Российская академия наук, Президиум РАН

Адрес редакции: Мароновский пер., д. 26, Москва, 119049
 Издатель: Российская академия наук. Издательство “Наука” РАН, Профсоюзная ул., 90, Москва, 117997
 Оригинал-макет подготовлен издательством “Наука” РАН
 Отпечатано в ППП «Типография “Наука”», Шубинский пер., д. 6, Москва, 121099